

Шолохов М.А.

НА СМОЛЕНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В ближнем тылу идет работа по уборке урожая; свозят снопы, убирают лен. На пожелтевших полях смоленской земли видны согнутые спины колхозниц, жнущих рожь, в перелесках и на суглинистых склонах дети пасут скот, и по утрам совсем по-мирному звучат в деревнях переливы пастушьих жалеек, хлопки плетеных арапников и звонкие петушиные крики. Но чем ближе к линии фронта, тем мрачнее и безрадостнее становится картина безлюдных, покинутых населением деревень — здесь недавно хозяйничали гитлеровцы; словно Мамаевы полчища прошли по обочинам дорог.

Вытопанная, тоскливо ошетилившаяся рожь, дотла сожженные деревни и села, разрушенные немецкими снарядами и бомбами церкви, и всюду страшные следы безжалостного, ничем не оправдываемого разрушения. Теснимые контрударами наших доблестных частей в районе Н., они отошли, эти любители чужих земель и бессмысленных разрушений, оставляя по пути своего следования наспех огороженные холмики могил с крестами и надетыми на них касками убитых гитлеровских солдат...

Вот сидит перед нами пленный обер-ефрейтор гитлеровской армии Вернер Гольдкамп, смотрит тоскующими и в то же время ненавидящими глазами загнанного зверя, по-военному четко дает ответы.

Нет, это вовсе не вопрос, мы просто хотим узнать, что он собой представлял в прошлом, как ему воевалось на нашей земле. Постепенно все становится ясным.

Вернер Гольдкамп попал в плен сегодня утром. Он участвовал в захвате Польши, Франции и с начала военных действий находится на Восточном фронте. Последние трое суток он не ел и не умывался, лицо и одежда его в грязи, серо-зеленый мундир изрядно потрепан, сапоги залатаны, даже голенища пестрят латками.

Трое суток наша артиллерия громила батальон, в котором служил ефрейтор Гольдкамп. «Это было ужасно,— подавленно говорит он,— мы несли потери и не могли поднять головы в окопах, не то что умыться...». На четвертые сутки храбрый ефрейтор с выправкой спортсмена и еще несколько солдат решили сдаться в плен.

Как правило, большинство пленных с величайшим уважением и со страхом отзываются о нашей артиллерии. Некоторые из них, прибитые к земле огнем наших орудий, а затем взятые в плен, истерически болтливы, и в психике их явно чувствуется происшедший надлом, другие мрачно говорят, что «советская артиллерия — страшная штука». Такое признание врага — лучшая похвала нашим артиллеристам.

Тот же Гольдкамп на вопрос, с каким настроением шли солдаты его взвода на войну против Советского Союза, ответил: «Вначале мы надеялись на скорую победу, а потом поняли, что здесь мы найдем свою гибель». И когда один из присутствующих при разговоре товарищей спросил, не хочет ли он вернуться в Германию, Гольдкамп, до этого отвечавший довольно сдержанно, с живостью сказал:

— Нет, нет, сейчас не хочу! Я уже получил достаточно и больше войны не хочу!

Второй пленный, ефрейтор Ганс Добат из 83-го пехотного полка 28-й дивизии, взятый в плен вместе с семью солдатами, заявил:

— Мы много дней не ели до этого боя, и я сказал своим солдатам: «Советские танки ходят здесь, а наших нет, нас не кормят, а стране, которая не может кормить своих солдат и поддерживать их в бою техникой, нельзя воевать. Сдадимся!». И мы пропустили ваши танки и сдались пехоте. Мы не могли сражаться больше, неся такие потери. В батальонах у нас осталось восемнадцать — двадцать процентов кадрового состава. Только за последние дни мы потеряли более половины состава в трех ротах.

Так выглядят сейчас эти солдаты, еще недавно топтавшие поля Франции и кичившиеся своей непобедимостью.

Сложная и хитро продуманная фашистами система, направленная к тому, чтобы любыми средствами удержать немецкого солдата под ружьем, пока еще в действии. В групповом окопе немецкой роты ни один солдат не может пройти к ходу сообщения, миновав офицера, но если он и проскользнет — в тылу его задержит полевая жандармерия. Офицеры-фашисты пугают солдат тем, что в плену их якобы ждет немедленное уничтожение. Ложь, запугивание, жестокая дисциплина — все это пока держит уставшего от войны немецкого солдата в окопах, но уже отчетливо проступают первые признаки начинающегося разложения части гитлеровской армии: недовольство офицерским составом, отсиживающимся в тылу, сознание полной бесперспективности войны с Советским Союзом, недоверие к авантюристической политике гитлеровской клики.

И чем сильнее будет отпор Красной Армии врагу, тем быстрее пойдет неизбежный процесс распада и гибели немецко-фашистской армии.

1941

Источник – Шолохов, М. А. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1980. – Т. 8. – С. 94–96.

ГНУСНОСТЬ

Из действующей армии сообщают: «Близ села Ельня разгорелся упорный бой. Фашисты построили перед домами укрепления, замаскировали их и долго отстреливались. А когда наша часть перешла в наступление, фашисты выгнали из села всех женщин и детей и расположили их перед своими окопами...».

Это сделали солдаты гитлеровской армии, о мужестве и благородстве которой распинается фашистское радио. Гнилостным, омерзительным запахом разложения разит от такого «благородства». И невольно думаешь: если уцелеют гитлеровские солдаты, совершившие под Ельней этот позорный поступок, как не стыдно будет им потом смотреть в глаза своим матерям, женам и сестрам?

Видно, основательно поработала нацистская пропаганда, вытравив из души гитлеровского солдата всякие человеческие чувства, превратив живых людей в автоматы, совершающие бесчеловечные и дикие дела!

Не знаю, как на языке Геббельса будет называться то, что произошло под Ельней,— военной сметкой ли, проявлением ли немецкой находчивости,— но на языках всех цивилизованных народов мира такой поступок, бесчестящий солдата, всегда назывался и будет называться гнусностью. И все, кто узнает об этом очередном проявлении фашистской гнусности, испытают чувство жгучего стыда за немецкий народ и омерзение и ненависть к тем, кто на войне, позабыв стыд, прячется за спины безоружных мирных жителей.

Народы Советского Союза и Красная Армия ведут счет злодеяниям немецких фашистов. И ответ будет один: большой кровью заплатят они за пролитую кровь наших людей, и кровью же будут расплачиваться за собственное бесчестье.

1941

Источник – Шолохов, М. А. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1980. – Т. 8. – С. 96–97.

ПО ПУТИ К ФРОНТУ!

Вооруженные карандашами, записными книжками и ручными пулеметами, мы едем на автомобиле к линии фронта, обгоняя множество грузовых автомашин, везущих к передовым позициям боеприпасы, продовольствие, красноармейцев.

Все машины искусно замаскированы ветвями берез и елей, и, когда смотришь с холма вниз на дорогу, создается впечатление, будто в сказочный поход с востока на запад движутся, переселяясь куда-то, кусты и деревья. В движении — целый лес!

С запада все слышнее доносятся громовые раскаты артиллерийской канонады. Близок фронт, но по-прежнему машут желтыми и красными флажками красноармейцы — регулировщики движения, так же стремительно движется поток грузовых автомашин, по бокам дороги грохочут гусеницами мощные тракторы-тягачи.

Предупрежденные, что в любой момент можно ожидать нападения с воздуха, я и мои спутники по очереди ведем наблюдение, стоя на подножке автомобиля, но немецкие самолеты не появляются, и мы без помех продолжаем поездку.

Мне, жителю почти безлесных степей, чужда природа Смоленской области. Я с интересом слежу за разворачивающимися пейзажами. По сторонам дороги зеленой стеною стоят сосновые леса. От них веет прохладой и крепким смолистым запахом. Там, в лесной гущине, полутемно даже днем, и что-то зловещее есть в сумеречной тишине, и недоброй кажется мне эта земля, покрытая высокими папоротниками и полусгнившими пнями.

Изредка на поляне, поросшей молодыми березками и осинником, ослепительно вспыхнет под солнцем и промелькнет куст красной рябины, и снова с двух сторон обступают нас леса. А потом в просвете вдруг покажется холмистое поле, вытопанные войсками рожь или овес, и где-нибудь на склоне черными пятнами выступят обуглившиеся развалины сожженной немцами деревни.

Мы сворачиваем на проселочную дорогу, едем по местности, где всего несколько дней назад были немцы. Сейчас они выбиты отсюда, но все вокруг еще носит следы недавних ожесточенных боев. Земля обезображена воронками от снарядов, мин, авиабомб. Воронок этих множество. Все чаще попадаются пока еще не прибранные трупы людей и лошадей. Сладковато-приторный трупный запах все чаще заставляет нас задерживать дыхание. Вот неподалеку от дороги лежит вздувшаяся гнедая кобылица, и рядом с мертвой матерью — мертвый крохотный жеребенок, успокоенно откинувший пушистую метелку хвоста. И такой трагически ненужной кажется эта маленькая жертва на большом поле войны...

На скате холма — немецкие групповые и одиночные окопы, блиндажи. Они взрыты нашими снарядами. Торчат из-под земли расщепленные бревна накатов, возле брустверов валяются патронные гильзы, пустые консервные банки, каски, бесформенные клочья серо-зеленых немецких мундиров, обломки разбитого оружия и причудливо изогнутые оборванные телефонные провода. Прямым попаданием снаряда уничтожен пулеметный расчет вместе с пулеметом. В дверях сарая неподалеку от окопов видно исковерканное противотанковое орудие. Страшная картина разрушения, причиненная шквалом огня советской артиллерии.

Село, за овладение которым несколько дней шли упорные бои, находится по ту сторону холма. Перед уходом немцы выжгли его дотла. Внизу через небольшую речушку красноармейцы-саперы возводят мост. Пахнет свежей сосновой стружкой, речным илом. Саперы работают без рубашек. Загорелые спины их лоснятся от пота и блестят на солнце так же, как и свежий тес мостового настила.

Осторожно переезжаем речку по уложенным в ряд бревнам. Грязь по сторонам взмешена гусеницами танков и тракторов. Въезжаем в то, что недавно называлось селом. По сторонам обгорелые развалины домов. Торчат одни печные задымленные трубы. Груды кирпича на месте, где недавно были жилища; обгорелая домашняя утварь, осколки разбитой посуды, детская кроватка с покоробившимися от огня металлическими прутьями.

На мрачном фоне пожарища неправдоподобно, кощунственно красиво выглядит единственный, чудом уцелевший, подсолнечник, безмятежно сияющий золотистыми лепестками. Он стоит неподалеку от фундамента сгоревшего дома, среди вытоптанной картофельной ботвы. Листья его слегка опалены пламенем пожара, ствол засыпан обломками кирпичей, но он живет! Он упорно живет среди всеобщего разрушения и смерти, и кажется,

что подсолнечник, слегка покачивающийся от ветра,— единственное живое создание природы на этом кладбище.

Однако это не так: оставив машину, мы тихо идем по улице и вдруг видим на черной, обгорелой стене желтую кошку. Она мирно умывается лапкой. Она ведет себя так, как будто вовсе не являлась свидетельницей страшных событий, лишивших ее и крова и хозяев. Но, завидев нас, она на секунду неподвижно замирает, а затем, сверкнув, как желтая молния, исчезает в развалинах.

Две одичавшие курицы — две вдовы, оставшиеся без своего петуха и подружек,— не подпустили нас даже на сорок метров. Они мирно добывали себе корм, роясь на вытоптанном огороде, но как только увидели людей в одежде цвета хаки, без крика метнулись в сторону и тотчас исчезли.

— Они, по птичьей неопытности, не разобрались в форме и приняли нас за немцев,— сказал один из моих спутников — участник недавних боев.

Он рассказал, что немцы в занятых деревнях устраивают настоящую охоту на домашних гусей, уток и кур. Коров и свиней режут в хлевах, а птицу, которую трудно изловить, стреляют из автоматов.

— Эти пеструшки, несомненно, побывали под огнем, им надо простить их чрезмерную осторожность,— улыбаясь, заключил он свой рассказ.

Удивительно трогательна привязанность у животных и птиц к обжитому месту. В этом же селе мне пришлось видеть разрушенную немецкими снарядами церковь и стайку голубей, сиротливо вившуюся над развалинами. Они жили, вероятно, на колокольне, но, лишившись приюта, все же не покинули родного места. Небольшая собачонка в одном из переулков поползла нам навстречу, униженно виляя хвостом. У нее не оказалось того, что называется собачьим достоинством, но мужество, необходимое, чтобы одной приходиться из леса к родному пепелищу, она сохранила. На окраине села, в коноплянике, мы вспугнули стаю воробьев. Это были вовсе не те оживленные, хлопотливо чирикающие воробьи мирного времени, которых мы привыкли видеть прежде. Молчаливые и жалкие, они покружились над сожженным селом, затем вернулись и, нахохлившись, расселись на стеблях конопли.

Впрочем, у местных колхозниц эта тяга к родному месту, на котором прожита жизнь, столь же сильна. Мужчины ушли на фронт, женщины и дети с приходом немцев попрятались в окрестных лесах. Сейчас они вернулись в сожженные деревни и потерянно бродят по развалинам, роются на пожарищах, разыскивая хоть что-либо уцелевшее из домашнего скарба. На ночь они уходят в леса, красноармейцы резервных частей кормят их за счет ротных котлов, дают им хлеба, а днем они снова идут в деревни,— как птицы выются у своих разрушенных гнезд.

В соседней, тоже выжженной деревушке я видел несколько колхозниц и детей, помогавших матерям разыскивать на пожарищах уцелевшие вещи. Одна из женщин на мой вопрос, как теперь она думает жить, ответила:

— Прогоните проклятых немцев подальше, а за нас не беспокойтесь, заново построимся, сельсовет поможет, кое-как проживем.

Серые от золы и пепла, измученные лица и воспаленные глаза детей и женщин надолго остались в моей памяти, и я невольно думал: «Какой же тупой, дьявольской ненавистью ко всему живому надо обладать, чтобы стирать с земли мирные города и деревни, без смысла, без цели подвергать все разрушению и огню».

Мы проехали еще одну деревню, и снова нас окружили леса, затем промелькнули поля с неубранным хлебом, участок отцветшего льна с сохранившимися кое-где голубенькими цветочками, часовой-красноармеец возле дороги и предостерегающая надпись на столбике, торчащем изо льна: «Поле минировано».

При отступлении немцы минировали дороги, обочины дорог, брошенные автомашины, собственные окопы и даже трупы своих солдат. Наши саперы заняты очисткой от мин взятой территории, всюду видны их согнутые, ищущие фигуры, а пока на минированных участках

осторожно, впритирку, разъезжаются машины и повозки, и расставленные кругом часовые внимательно следят, чтобы никто не удалялся в опасных местах от дороги.

Все сильнее нарастает ревушая октава артиллерийского боя, и вот уже можно различить сладостный нашему слуху гром советских тяжелых батарей.

Вскоре мы находимся в расположении одной из частей нашего резерва. Совсем недавно эти люди были в бою, а сейчас около землянки вполголоса наигрывает гармошка, человек двадцать красноармейцев стоят, собравшись в круг, весело смеются, а посередине круга выхаживает молодой коренастый красноармеец. Он лениво шевелит крутыми плечами, и на лопатках его зеленой гимнастерки отчетливо белеют соляные пятна засохшего пота. Задорно похлопывая по голенищам сапог большими ладонями, он говорит своему товарищу, высокому, нескладному красноармейцу:

– Выходи, выходи, чего испугался? Ты Рязанской области, а я – Орловской. Вот и попробуем, кто кого перепляшет!

Но скоро короткие сумерки затемняют лес, и в лагере устанавливается тишина. Завтра с рассветом нам предстоит поездка в ведущую наступление часть командира Козлова.

1941

Источник – Шолохов, М. А. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1980. – Т. 8. – С. 97–102.

ЛЮДИ КРАСНОЙ АРМИИ

Генерал Козлов прощается с нами и уезжает в одну из частей, чтобы на поле боя следить за ходом наступления. Мы желаем ему успеха, но и без нашего пожелания кажется совершенно очевидным, что военная удача не повернется спиной к этому генералу-крестьянину, осмотрительному и опытному, по-крестьянски хитрому и по-солдатски упорному в достижении намеченной цели.

Выхожу из землянки. До начала нашей артподготовки остается пятнадцать минут. Меня знакомят с младшим лейтенантом Наумовым, только что прибывшим с передовых позиций. Ему пришлось ползти с полкилометра под неприятельским огнем. На рукавах его гимнастерки, на груди, на коленях видны ярко-зеленые пятна раздавленной травы, но пыль он успел стряхнуть и сейчас стоит передо мной улыбающийся и спокойный, по-военному подобранный и ловкий. Ему двадцать семь лет. Два года назад он был учителем средней школы. В боях с первого дня войны. У него круглое лицо, покрыты золотистым юношеским пушком щеки, серые добрые глаза и выгоревшие на солнце белесые брови. С губ его все время не сходит застенчивая, милая улыбка. Я ловлю себя на мысли о том, что этого скромного, молодого учителя, наверное, очень любили школьники и что теперь, должно быть, так же любят красноармейцы, которым он старательно объясняет военные задачи, видимо, так же старательно, как два года назад объяснял ученикам задачи арифметические. С удивлением я замечаю, что в коротко стриженных белокурых волосах молодого лейтенанта, там, где не покрывает их каска, щедро поблескивает седина. Спрашиваю, не война ли наградила его преждевременной сединой. Он улыбается и говорит, что в армию пришел уже поседевшим, и теперь никакие переживания уже не смогут изменить цвета его волос.

Мы садимся на насыпь блиндажа. Разговор у нас не клеится. Мой собеседник скупно говорит о себе и оживляется только тогда, когда разговор касается его товарищей. С восхищением говорит он о своем недавно погибшем друге лейтенанте Анашкине. Время от времени он прерывает речь, прислушиваясь к выстрелам наших орудий и к разрывам немецких снарядов, лежащих где-то в стороне и сзади территории штаба. Прошу его рассказать что-либо о себе. Он морщится, неохотно говорит:

— Собственно, про себя мне рассказывать нечего. Наша противотанковая батарея действует хорошо. Много мы покалечили немецких танков. Я делаю то, что все делают, а вот Анашкин — этот действительно был парень! Под деревней Лучки ночью пошли мы в

наступление. С рассветом обнаружили против себя пять немецких танков. Четыре бегут по полю, пятый стоит без горючего. Начали огонь. Подбили все пять танков. Немцы ведут сильный минометный огонь. Подавить их огневые точки не удастся. Пехота наша залегла. Тогда Анашкин и разведчик Шкалев ползком, незамеченные, добрались до одного немецкого танка, влезли в него. Осмотрелся Анашкин — видит немецкую минометную батарею. Семидесятишестимиллиметровое орудие на танке в исправности, снарядов достаточно. Повернул он немецкую пушку против немцев и расстрелял минометную батарею, а потом начал расстреливать немецкую пехоту. Погиб Анашкин вместе с орудийным расчетом, когда перекачивали пушку, меняя огневую позицию.

Серые глаза моего собеседника потемнели, слегка дрогнули губы. И еще раз во время разговора заметил я волнение на его лице: неосторожно спросив о том, как часто получает он письма от своей семьи, я снова увидел потемневшие глаза и дрогнувшие губы.

— За последние три недели я послал жене шесть писем. Ответа не получил,— сказал он и, смущенно улыбнувшись, попросил: — Не сможете ли вы, когда вернетесь в Москву, сообщить жене, что у меня здесь все в порядке, и чтобы она написала мне по новому адресу? Наша часть сейчас переменяла номер почтового ящика, может быть, потому я и не получаю писем.

Я с удовольствием согласился выполнить это поручение. Вскоре наш разговор был прерван начавшейся артподготовкой. Грохот наших батарей сотрясал землю. Отдельные выстрелы и залпы слились в сплошной гул. Немцы усилили ответный огонь, и разрывы тяжелых снарядов стали заметно приближаться. Мы сошли в блиндаж, а когда через несколько минут снова вышли на поверхность, я увидел, что саперы, строившие укрытие, не прекращали работы. Один из них, пожилой, с торчащими, как у кота, рыжими усами, деловито осматривал огромную сваленную сосну, постукивая по стволу топором, остальные дружно работали кирками и лопатами, и на глазах рос огромный холм ярко-желтой глины.

— Не хотите ли поговорить с одним из наших лучших разведчиков? Он только сегодня утром пришел из немецкого тыла, принес важные сведения. Вот он лежит под сосной,— обратился ко мне один из командиров, кивком головы указывая на лежавшего неподалеку красноармейца.

Я охотно изъявил согласие, и командир сквозь гул артиллерийской канонады громко крикнул: — Товарищ Белов!

Быстрым, неуловимо мягким движением разведчик встал на ноги, пошел к нам, на ходу опираясь на гимнастерку.

Внезапно наступила тишина. Командир посмотрел на часы, вздохнул и сказал:

— Теперь наши пошли в атаку.

Было что-то звериное в движениях, в скользящей походке разведчика Белова. Я обратил внимание на то, что под ногой его не хрустнул ни один сучок, а шел он по земле, захлавленной сосновыми ветками и сучьями, но шел так бесшумно, будто ступал по песку. И только потом, когда я узнал, что он — уроженец одной из деревень близ Муррома, исстари славящегося дремучими лесами, мне стала понятна его сноровистость в ходьбе по лесу и мягкая поступь охотника-зверовика.

В разговоре с разведчиком повторилось то же, что и с младшим лейтенантом Наумовым: разведчик неохотно говорил о себе, зато с восторгом рассказывал о своих боевых товарищах. Воистину скромность — неотъемлемое качество всех героев, бесстрашно сражающихся за свою Родину.

Разведчик внимательно рассматривает меня коричневыми острыми глазами, улыбаясь, говорит:

— Первый раз вижу живого писателя. Читал ваши книги, видел портреты разных писателей, а вот живого писателя вижу впервые.

Я с не меньшим интересом смотрю на человека, шестнадцать раз ходившего в тыл к немцам, ежедневно рискующего жизнью, безусловно смелого и находчивого. Представителя этой военной профессии я тоже встречаю впервые.

Он сутуловат и длиннорук. Улыбается редко, но как-то по-детски — всем лицом, и тогда становятся видны его редкие белые зубы. Шоколадные глаза его часто щурятся. Словно ночная птица, он боится дневного света, прикрывая глаза густыми ресницами. Ночью он, наверное, видит превосходно. Внимание мое привлекают его ладони: они сплошь покрыты свежими и зарубцевавшимися ссадинами. Догадываюсь: это оттого, что ему много приходится ползать по земле. Рубашка и брюки разведчика грязны, покрыты пятнами, но эта естественная камуфляция столь хороша, что ляжь разведчик в блеклой осенней траве — и его не разглядишь в пяти шагах от себя. Он неторопливо рассказывает, время от времени перекусывая крепкими зубами сорванный стебелек травы.

— Вначале был я пулеметчиком. Взвод наш отрезали немцы. Куда ни сунемся — всюду они. Мой друг — пулеметчик вызвался в разведку. Я пошел с ним. Подползли к шоссе, залегли у моста. Долго лежали. Немецкие грузовые машины идут. Мы их считаем, записываем, что они везут. Потом подошла легковая машина и стала около моста. Немецкий офицер вышел из нее, высокий такой, в фуражке. Включился в полевой телефон, лег под машину, что-то говорит. Два солдата стоят около него. Шофер сидит за рулем. Мой товарищ — лихой парень — подмигнул мне и достал гранату. Я тоже достал гранату. Приподнялись и метнули две сразу. Всех четырех немцев уничтожили, машину испортили. Бросились мы к убитым, сорвали с офицера полевую сумку, карту взяли с какими-то отметками, часть оружия успели взять, и тут слышим, трещит мотоцикл. Мы снова залегли в канаве. Как только мотоциклист сбавил ход возле разбитой машины, мы кинули третью гранату. Мотоциклиста убило, а мотоцикл перевернулся два раза и заглох. Подбежал я, смотрю, мотоцикл-то целехонький. Мой дружок — очень геройский парень, а на мотоцикле ездить не умеет. Я тоже не умею, а бросать его жалко. Взяли мы его за руль и повели. — Разведчик улыбается, говорит: — Руки он мне, проклятый, оттянул, пока я его по лесу вел, а все же довели мы его до своих. На другой день прорвались из окружения и мотоцикл прикатали. Теперь на нем наш связист скачет, аж пыль идет! Вот с этого дня мне и понравилось ходить в разведку. Попросил я командира роты, он и отчислил меня в разведчики. Много раз я к немцам в гости ходил. Где идешь, где на брюхе ползешь, а иной раз лежишь несколько часов, и шевельнуться нельзя. Такое наше занятие. Все больше ночью ходим, ищем, вынюхиваем, где у немцев склады боеприпасов, радиостанции, аэродромы и прочее хозяйство.

Прошу его рассказать о последнем визите к немцам. Он говорит:

— Ничего, товарищ писатель, нет интересного. Пошли мы позавчера целым взводом. Проползли через немецкие окопы. Одного немца тихо прикололи, чтобы он шуму не наделал. Потом долго шли лесом. Приказ нам был рвануть один мост, построенный недавно немцами. Это километров сорок в тылу у них. Ну, еще кое-что надо было узнать. Отошли за ночь восемнадцать километров, меня взводный послал обратно с пакетом. Шел я лесной тропинкой, вдруг вижу свежий конский след. Нагнулся, вижу — подковы не наши, немецкие. Потом людские следы пошли. Четверо шли за лошадью. Один хромой на правую ногу. Проходили недавно. Догнал я их, долго шел сзади, а потом обошел стороной неподалеку и направился своим путем. Мог бы я их всех пострелять, но мне с ними в драку ввязываться нельзя было. У меня пакет в руках, и рисковать этим пакетом я не имел права. Дождался ночи возле немецких окопов и к утру переполз на свою сторону. Вот и все.

Некоторое время он молчит, щурит глаза и задумчиво вертит в руках сухую травинку, а потом, словно отвечая на собственные мысли, говорит:

— Я так думаю, товарищ писатель, что побьем мы немцев. Трудно наш народ рассердить, пока он еще не рассердился по-настоящему, а вот как только рассердится, как полагается, худо будет немцам. Задавим мы их!

По пути к машине мы догоняем раненого красноармейца. Он тихо бредет к санитарной автомашине, изредка покачивается, как пьяный. Голова его забинтована, но сквозь бинт густо проступила кровь. Отвороты и полы шинели, даже сапоги его в потеках засохшей

крови. Руки в крови по локти, и лицо белеет той известковой, прозрачной белизной, какая приходит к человеку, потерявшему много крови.

Предлагаем ему помочь дойти до машины, но он отклоняет нашу помощь, говорит, что дойдет сам. Спрашиваем, когда он ранен. Отвечает, что час назад. Голова его забинтована по самые глазницы, и он, отвечая, высоко поднимает голову, чтобы рассмотреть того, кто с ним говорит.

- Осколком мины ранило. Каска спасла, а то бы голову на черепки побило,— тихо говорит он и даже пробует улыбнуться обескровленными, синеватыми губами.— Каску осколок пробил, схватился я руками за голову — кровь густо пошла.— Он внимательно рассматривает свои руки, еще тише говорит: — Винтовку, патроны и две гранаты отдал товарищу, кое-как дополз до перевязочного пункта.— И вдруг его голос крепнет, становится громче. Повернувшись на запад, откуда доносятся взрывы мин и трескотня пулеметов, он твердо говорит: — Я еще вернусь туда. Вот подлечат меня, и я вернусь в свою часть. Я с немцами еще посчитаюсь!

Голова его высоко поднята, глаза блестят из-под повязки, и простые слова звучат торжественно, как клятва.

Мы идем по лесу. На земле лежат багряные листья — первые признаки наступающей осени. Они похожи на кровавые пятна, эти листья, и краснеют, как раны на земле моей Родины, оскверненной немецкими захватчиками.

Один из товарищей вполголоса говорит:

— Какие люди есть в Красной Армии! Вот недавно погиб смертью героя майор Войцеховский. Неподалеку отсюда, находясь на чердаке одного здания, он корректировал огонь нашей артиллерии. Шестнадцать немецких танков ворвались в село и остановились вблизи здания, где находился майор Войцеховский. Не колеблясь, он передал по телефону артиллеристам: «Немедленно огонь по мне. Здесь немецкие танки». Он настоял на этом. Все шестнадцать танков были уничтожены, угроза прорыва нашей обороны была предотвращена, погиб и Войцеховский.

Дальше идем молча. Каждый из нас думает о своём, но все мы покидаем этот лес с одной твердой верой: какие бы тяжкие испытания ни пришлось перенести нашей Родине, она непобедима. Непобедима потому, что на защиту ее встали миллионы простых, скромных и мужественных сынов, не щадящих в борьбе с коричневым врагом ни крови, ни самой жизни.

1941

Источник – Шолохов, М. А. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1980. – Т. 8. – С. 107–113.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ

Их батальон посадили в вагоны в Париже и отправили на восток. Они везли с собой награбленные во Франции вещи, французское вино и французские автомашины.

От Минска к линии фронта они шли походным порядком, так как автомашины были оставлены в Минске из-за отсутствия бензина. Опьяненные победами германского оружия и французским вином, они двигались по пыльным дорогам Белоруссии, закатав рукава мундиров, расстегнув воротники. Каски их были привешены к поясам, открытые потные головы сушило ласковым солнцем и теплым ветерком чужой России. Во флягах пока еще плескалось вино, и солдаты бодро шли по улицам выжженных советских деревень и громко пели похабную ротную песенку о том, что красивая француженка Жанна впервые увидела настоящих солдат и впервые вдоволь познала настоящих мужчин только тогда, когда немцы вступили в Париж.

Потом, днем и ночью, на марше и на отдыхе, их стали тревожить партизаны. За шесть дней батальон в перестрелках потерял около сорока человек убитыми и ранеными. Исчез

посланный в штаб мотоциклист. Исчезли шесть солдат и один обер-ефрейтор. Они отправились в ближнюю деревню добыть для роты что-либо съестное и не вернулись. В батальоне все реже пели о красивой и оставшейся довольной немцами Жанне. Здесь немцами были недовольны. Жители при вступлении батальона в разрушенные деревни убегали, прятались в лесах, а те, кого заставляли в жилищах, были нахмурены и смотрели в землю, чтобы скрыть от солдат ненависть к ним, светившуюся в глазах. Ненависти в случайно пойманных взглядах мужчин и женщин было больше, чем страха. Нет, это была не Франция.

Он — ефрейтор Фриц Беркманн,— если верить его словам, не принимал участия в расправах над мирным населением. Он считает себя культурным, порядочным человеком и, разумеется, решительным противником ненужной жестокости. И когда однажды подвыпившие солдаты его роты со смехом и шутками потащили в сарай молодую женщину-колхозницу, он, чтобы не слышать ее криков, ушел со двора. Женщина была молодая и сильная. Она здорово сопротивлялась, в результате чего один солдат лишился глаза. Остальные все же справились с ней. Но после того, как ее изнасиловали, окривевший солдат убил ее. Ефрейтор Беркманн, узнав об этом, был ужасно возмущен. Сам он ни за что не смог бы совершить подобной гнусности. У него в Нюрнберге остались жена и двое детей, и он не хотел бы, чтобы с его женой когда-либо поступили подобным образом. Однако не может же он отвечать за действия скотов, имеющих, к сожалению, в немецкой армии. Когда он сообщил о происшедшем своему лейтенанту, тот пожал плечами — война есть война — и приказал Беркманну не лезть к нему с пустяками.

Прямо с марша батальон бросили в бой. Двадцать шесть суток солдаты не вылезали из окопов. В роте Беркманна от ста семидесяти человек осталось тридцать восемь. Солдаты были удручены огромными потерями. Нет, не о такой войне с русскими думали они, когда ехали из Франции, горлая песни. Офицеры говорили им, что Россию они пройдут так же легко, как нож проходит сквозь масло. Все это оказалось хвастливой болтовней, и многие из офицеров, говоривших подобные слова, теперь уже ничего не скажут: пули русских стрелков и осколки русских снарядов прошли сквозь их тела воистину с той самой легкостью, с какой проходит сквозь масло нож.

Беркманн взят в плен сегодня утром во время нашей атаки. Перед тем, как вести его в нашу землянку, красноармейцы плотно завязали ему глаза бинтом.

— Вы меня хотите расстрелять? — дрогнувшим голосом спросил Беркманн.

Но красноармейцы, не зная немецкого языка, ничего не ответили на вопрос.

На подгибающихся от страха ногах Беркманн вошел в землянку. С глаз его сняли повязку, и он, увидев мирно сидевших за столом людей, вздохнул хрипло, всей грудью и с таким облегчением, что мне стало как-то не по себе.

— Я думал, что меня ведут на расстрел,— объясняя свой невольный вздох, пролепетал пленный и тотчас стал навывтяжку.

Его пригласили сесть. Он опустился на стул, положив руки на колени.

Вот он сидит перед нами, этот ландскнехт нацистской Германии, и подробно отвечает на все вопросы.

Он все еще никак не может успокоиться после пережитого волнения. Щеку его подергивает нервный тик, руки, лежащие на коленях, дрожат. Он всеми силами старается подавить свое волнение и скрыть дрожь, но это ему плохо удается. Только после того, как он с жадностью выкуривает предложенную ему папироску, к нему приходит уравновешенность.

У него светлые курчавые волосы, широко поставленные голубые неумные глаза. Он — безусловный ариец, изрядно потрепанный войной и очень голодный. В день им выдавали по три папиросы, немного хлеба и полкотелка горячей пищи. Горячую пищу не всегда можно было подвезти, и они отчаянно голодали.

Что он думает об исходе войны с Советской Россией? Он считает это предприятие безнадежным. Фюрер совершил ошибку, напав на Россию. Это очень большой кусок,

которым бедная Германия может подавиться. Здесь он, ефрейтор Беркманн, имеет возможность свободно высказать свое мнение, чего никак не мог сделать в своей части, так как члены нацистской партии засекречены и шпионят за солдатами. Всякое неосторожно высказанное слово приведет под дуло винтовки. Лично он думает, что надо было окончательно побить Англию, отобрать у нее колонии и на этом поставить точку.

Впечатления его о занятой советской территории сводятся к одному: маловато продуктов. Все, что было у населения, съели передовые немецкие части. Найти курицу счастье. Почти с ненавистью говорит он о своих танкистах и подвижных частях: «Эти скоты очищают все, после них идешь, словно в пустыне».

- Тяжело говорить с ефрейтором Беркманном. От циничных слов этого грабителя в солдатском мундире, истерически болтливого и тупого, в землянке становится еще душнее, тянет выйти на воздух. Мы прекращаем разговор.

В заключение он, поднявшись и стоя навтыяжку, говорит о том, что два часа назад на допросе он честно рассказал советскому командиру о расположении и численности своего батальона, штаба и о складе боеприпасов. Он сказал все, что знал, так как является убежденным противником войны с Россией. Сообщенные им сведения при проверке, безусловно, подтвердятся, а потому он просит дать ему возможность уведомить жену, что он находится в плену, и если это возможно, покормить его еще, так как последний раз ему давали пищу семь часов назад.

* * *

Двадцатилетний безусый юноша. Гладко прилизанные волосы, синие прыщи на лице и юркие, воровато бегающие глаза. Член германской национал-социалистской партии. Танкист. Был во Франции, в Югославии, в Греции. Танк его вчера в бою подорвал красноармеец связкой ручных гранат. Выскочив из машины, отстреливался. Ранен четырьмя пулями. Раны легкие. Изредка морщится от боли, но держит себя с нахальным, напускным мужеством. Отвечая на вопросы, не поднимает глаз. На некоторые вопросы категорически отказывается отвечать, но зато обстоятельно, заученными фразами говорит о превосходстве германской нации, о неполноценности французов, англичан, славянских народов. Нет, это не человек, а плохой пирог с дурно пахнущей начинкой. Ни одной своей мысли, никаких духовных интересов. Спрашиваем, знает ли он Пушкина, Шекспира. Он морщит лоб, думает, потом задает вопрос:

— Кто это такие? — и получив ответ, кривит тонкие губы презрительной усмешкой, говорит: — Не знаю и знать не хочу. Не испытываю в этом надобности.

Он уверен в победе Германии. С тупым, идиотичным упрямством он твердит:

— К зиме наша армия разделается с вами и тогда со всей силой обрушится на Англию. Англия должна погибнуть.

— А если Россия и Англия разделаются с Германией?

— Этого не может быть. Фюрер сказал, что мы победим,— глядя себе под ноги, отвечает пленный. Он отвечает, как неумный ученик, твердо заучивший урок и не утруждающий себя излишними размышлениями.

Что-то фальшивое, неправдоподобно уродливое есть в облике этого юноши, и только одна фраза звучит у него по-настоящему искренне:

— Жаль, что моя военная карьера прервана...

Безнадежно развращенный гитлеровской пропагандой, молодой мерзавец не устал убивать. Он только что вошел во вкус убийства, он еще не нанюхался вволю чужой крови, а тут — плен. И вот теперь он сидит перед нами, навсегда обезвреженный, смотрит глазами затравленного кровожадного хорька, и слепая ненависть к нам раздувает его ноздри.

Шесть военнопленных немецких солдат под охраной красноармейца вышли из палатки, присели на покрытую хвоей землю. Их только что привели сюда, забрав в плен. Мундиры их залатаны и грязны, у одного подошва сапог прихвачена проволокой. Они не умывались шесть дней. Этой возможности лишила их наша артиллерия. Лица их мрачны и покрыты

коркой засохшей грязи. Они обовшивели, сидя в окопах, и теперь, не стесняясь, почесываются, скребут головы черными пальцами. Лишь один из них, черноволосый красивый парень, довольно улыбается и, обращаясь ко мне, говорит:

— Для меня война кончилась. Я счастлив оттого, что так удачно попал в плен.

Им приносят в котелках горячий борщ.

Как звери набрасываются они на пищу и, обжигаясь, чавкая, почти не прожевывая, глотают торопливо, жадно. Двоим из них не принесли ложек. Не дожидаясь, когда принесут ложки, они запускают в котелки грязные ладони, пальцами вылавливают гущу и отправляют ее в рот, запрокидывая головы и блаженно щурясь.

Насытившись, они встают, отяжелевшие и сонные. Коренастый обер-ефрейтор, подавляя отрыжку, говорит:

— Спасибо. Большое спасибо. Не помним, когда в последний раз мы так плотно наедались.

Переводчик говорит, что седьмой по счету пленный отказался от пищи и сейчас сидит в палатке. Проходим в палатку. Пожилой немецкий солдат, давно не бритый и очень худой, встает при нашем появлении, опускает большие мозолистые руки по швам. Спрашиваем, почему он отказывается от обеда.

Дрожащим от волнения голосом солдат говорит:

— Я крестьянин. Мобилизован в июле. За два месяца войны я вдоволь насмотрелся на произведенные нашей армией разрушения, на брошенные поля, на все, что сделали мы, идя на восток... Я лишился сна, и кусок не идет мне в горло. Знаю, что так же разорили почти всю Европу и что за все это Германии придется нести страшную расплату. Не только этой собаке — Гитлеру, но всему германскому народу придется расплачиваться. Вы понимаете меня?

Он отворачивается и долго молчит. Что же, это хорошее раздумье. И чем скорее сознание тягчайшей ответственности и неизбежной расплаты придет к немецким солдатам, тем ближе будет победа демократии над взбесившимся нацизмом.

1941

Источник – Шолохов, М. А. Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1980. – Т. 8. – С. 114–119.